

**Свирский Алексей Иванович**

**История моей жизни**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84-4

**Свирский Алексей Иванович**

История моей жизни / Свирский Алексей Иванович – М.: Книга по Требованию, 2011. – 460 с.

**ISBN 978-5-4241-1484-7**

Издание предваряется кратким предисловием автора:

"Сейчас, когда память водит меня по давно пройденным дорогам, я вижу себя маленьkim бездомным мальчиком, лишенным ласк и встречных улыбок. Затерянный и невидимый в безбрежной жизни, я детскими силенками бьюсь за право существовать и, подобно траве в расщелинах скал, тянусь вверх. Я расскажу об этой борьбе, расскажу, как грубыми пинками меня сталкивали с каждой ступеньки, завоеванной терпением, упорством и слезами никому не нужного ребенка.

Не моя вина, если не найдут в моем рассказе веселых страниц, как не моя вина и в том, что и на склоне дней мое сердце все еще кипит ненавистью к прошлому, кошмарным призраком встающему перед моей раскрытой памятью."

**ISBN 978-5-4241-1484-7**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011



# Алексей Иванович Свирский

## История моей жизни

### Маленькое вступление

Предо мною открыт далекий мир воспоминаний. С седых вершин моей здоровой старости он виден мне от края и до края.

Этот мир — моя жизнь, полная борьбы, поражений и побед.

Сейчас, когда память водит меня по давно пройденным дорогам, я вижу себя маленьким бездомным мальчиком, лишенным ласк и встречных улыбок. Затерянный и невидимый в безбрежной жизни, я детскими силенками бьюсь за право существовать и, подобно траве в расщелинах скал, тянусь вверх.

Я расскажу об этой борьбе, расскажу, как грубыми пинками меня сталкивали с каждой ступенькой, завоеванной терпением, упорством и слезами никому не нужного ребенка.

Не моя вина, если не найдут в моем рассказе веселых страниц, как не моя вина и в том, что и на склоне дней мое сердце все еще кипит ненавистью к прошлому, кошмарным призраком встающему перед моей раскрытоей памятью.

### Часть первая

#### 1. Летний день

В далекой загородной больнице умирает моя мать. А мне всего восемь лет. Я бегаю по нашей Приречной улице босиком, в длинной ситцевой рубахе, на моей чернокудрой голове играет солнце, теплая река мягкой кошкой сгибается, ластится и поминутно зовет купаться; сквозь зеленое кружево зреющих садов смеются краснощекие яблоки, янтарные груши, желтосиние бусы поспевающих слив, звонко дрожит земля в сияющем океане солнечных дней, а там, далеко, за чужими улицами умирает мама.

Моя мама...

Зачем умирать, когда мне так некогда? И почему летом дни такие коротенькие? Не успеешь наиграться, а солнце уже садится на корточки и поджигает ореховую рощу, что по ту сторону реки. Густо наливается синью предвечернее небо, и под босыми ногами остаивают камни и земля. Вот когда хорошо побегать! Нет пыли, от жары не потеешь, а когда крикнешь в тишину, роща тебе откликается...

Но тетя Сара — родная сестра моей мамы — не дает покою: вот сейчас появится она на кривобоком крылечке и позовет домой. А уходить совсем не хочется.

На нашем дворе детей больше, чем зерен в маковой головке; все мы бедны, все равны и все драчуньи. Наш двор самый сильный и храбрый. Соседние мальчишки нас знают и проходят мимо с опаской.

Играем в горелки, в чижики, в пятнашки, в разбойники, в прятки и так хохочем, так прыгаем, что воробы и ласточки нам завидуют... И вдруг тетя...

С опущенной головой иду на строгий зов. Тетя сердится.

Лицо худое, с желтыми пятнами, а большие серые глаза из-под черных бровей

злятся, угрожают...

Она бросает мне навстречу:

— Без зова не можешь приходить, лгунишко сопливый?

Тетя бьет меня в самое сердце. Мой позор, мое несчастье заключается в том, что я часто помимо воли наврь почем зря, а к вечеру все разъяснится, и меня уличают во лжи.

Я никак не могу понять, зачем я сочиняю всякие небылицы, а удержаться не могу. Выдумаешь что-нибудь и спешишь скорее рассказать взрослым, а те слушают, верят, расспрашивают, и мне приятно, что «дяди» и «тети» заинтересованы мною...

— Тетя, — кричу я с порога, — вы знаете, что случилось? Сося-Двойре на улице вот сейчас только родила девочку, малосенькую-малосенькую... Народу сколько собралось!.. Она кричала как!..

Тетя верит, охает, изумляется, а к вечеру узнают, что я наврал, и надо мною потешаются.

А то еще так: прибегаю домой и сообщаю новость — ночью вся Киевская улица сгорела без остатка. Слух этот вешними потоками разливается по всей нашей Приречной. У многих на Киевской имеются родственники.

Взрослые бросают работу и бегут к месту ночных пожарища, а я прячусь, горю стыдом, раскаиваюсь, кляну свою глупую голову и боюсь на глаза показаться.

Ужасное прозвище «лгунишко» тяжелой обидой падает на мои маленькие плечи, и не раз мне приходится вступать с товарищами в ожесточенные битвы из-за проклятой клички.

Но вот уже я лежу на кухне у окна, на большом мамином сундуке, а подо мною вчетверо сложенное ватное одеяло. Подушкой служит ковровый саквояж, набитый грязным бельем.

— Ну, ты, брехунишко, сходил на ночь? — сурово осведомляется тетя.

Я обидчиво киваю головой и поворачиваюсь к окну.

И чего она пристает? Я мамин сын, а не тетин. У нее своих девчонок целая куча. Пусть она с ними и занимается.

На дворе еще не все кончилось: игра продолжается.

Вместо меня, я слышу, разбойником стал Берке. Он трус и не сильный. Завтра я покажу ему.

Осторожно, чтобы тетя не заметила, я чуть-чуть приоткрываю окошко и через щелку гляжу во двор. Детей уже мало; последних загоняют домой. Становится совсем тихо, так тихо, что слышишь всплеск рыбки на уснувшей реке и шорох крыльев летучей мыши, царапающей синие сумерки.

Сквозь щелку я вижу небо. На этом небе сидит наш еврейский бог с большой седой бородой. Он все знает и все может.

И я обращаюсь к нему с большой просьбой:

— Сделай, дорогой мой, так, чтобы я никогда-никогда не врал. Ну, что тебе стоит? Ты такой большой и сильный, а я такой маленький... Прошу тебя... Я знаю, ты сердишься за то, что я не люблю молиться. Но я же не виноват, когда молитвы такие длинные и совсем даже непонятные...

Мне спать еще не хочется, и я думаю о маме, умирающей в больнице, о яблоках, растущих в саду священника, о товарищах...

Завтра мы отправимся далеко-далеко, где на баштанах зреют огурцы и сладкий горох... А тетя не имеет права за уши драть. Завтра пойду в больницу и маме пожалуюсь.

Высоко-высоко горит звезда с алмазными стрелками.

Я прищуриваю глаза, и стрелки сверкающими нитями вытягиваются до самых ресниц моих... И тишина шепчет мне маминым голосом: «Спи, маленький... Спи, бедненький...» Просыпаюсь от обычного шума раннего утра. Свистят птицы, на соседнем дворе мычит корова, ревут двоюродные сестренки и беспредышно кашляет дядя Шмуни — муж тети Сары.

Он очень болен: у него чахотка.

Дядя целый день ходит по богатым домам делать папиросы и зарабатывает два рубля в неделю.

Об этих двух рублях и о наших семи ртах тетя говорит каждодневно.

— Мы так бедны, что даже помои у нас чистые, — замечает тетя, заглядывая в ушат, что стоит в сенях.

В доме нет трех грошей, чтобы купить стакан молока для маленьких. А «маленькие» ничего знать не хотят и встречают солнечное утро воплями о хлебе.

У тети Сары лицо горит от волнения. Глаза глядят строго, черные брови сдвигаются к переносью.

Сейчас разыгрывается буря. Тетя ждет только, чтобы дядя кончил молиться. А тот стоит у восточной стены, закутанный в полосатый талес, нервно сжимает тонкими пальцами кончик рыжей бороды и, раскачиваясь из стороны в сторону, скороговорками выпускает из подвижных губ молитву за молитвой.

Кончит он, и тетя бросится в атаку. Она станет упрекать дядю в том, что он растоптал ее красоту и молодость, бросил ее в яму нищеты, обмногодетил ее, облохмотил, растерзал сердце, изуродовал жизнь нескончаемой скорбью, болезнями и слезами голодных детей...

Я боюсь этих бурь и стараюсь не попадаться под ноги. Одна минута — и постель моя уже брошена на печь, а сам бегу к реке.

Здесь есть где пожить!.. И побегать можно, и покупаться, и о деле поговорить с товарищами.

Сегодня пятница — самый тяжелый день для тети Сары. Она из белой муки испечет хале, наделает коржиков с маком. Будет мыть полы и чистить подсвечники; а вечером, после ужина, к нам придет Арон Пинес — наш сосед. Он — музыкант: играет на флейте, имеет двух детей и так беден, что занимает у нас соль, а иногда кусочек цикория.

Тетя говорит, что Пинес — самый умный, самый красивый и самый несчастный еврей. Красив потому, что в его черных глазах живет нежная печаль, несчастен потому, что у него рано умерла жена и что флейтой он зарабатывает меньше, чем дядя Шмуни папиросами, а умен потому, что знает то, чего нельзя даже в книгах найти.

По пятницам Пинес приходит к нам рассказывать сказки. Тетя выставляет угощение: глубокую тарелку с хорошо прожаренными тыквенными семечками. Нас, детей, отправляют на печь, и мы слушаем долго-долго...

Погаснут свечи — луна заглянет в окно, и снова у нас светло. А Пинес рассказывает о разбойниках, о царях, волшебниках, о далеких морях, о дремучих

лесах и о такой красоте, о таких богатствах, что нашу широкую теплую печь я принимаю за беседку,сыпанную алмазами и рубинами, а сопящую рядом со мною маленькую сестренку Фрейду — за принцессу...

Старший сын Пинеса, восьмилетний Мотеле, — мой лучший друг.

Скоро умрет моя мама, и я тоже, как и Мотеле, стану «сиротой», и мы с ним заранее поклялись перед солнцем, что будем навеки товарищами, будем защищать друг друга и делиться всем пополам.

Мы с ним одного роста и одинаковой силы, но я плаваю лучше и быстрее бегаю.

А вот он и сам. Весело скатывается с обрыва и протягивает мне кусочек черного хлеба, густо посыпанного солью.

— Дели сам, — говорит Мотеле и, вполне доверяя, нарочно отворачивается.

Я знаю, что было два кусочка, и что один Мотеле съел по дороге, но я ему прощаю, потому что сам так делаю. Два хороших укуса — и завтраку конец.

И настает наш день. Сначала, конечно, переплываем Тетерев. В ореховой роще находим щавель и тут же поедаем его.

Потом отправляемся на свалку.

Здесь наш клуб. Здесь наша босоногая команда.

Отсюда недалеко до сада священника и загородных баштанов.

В полдень возвращаемся к реке и по дороге, поднимая рубашки, хвастаем животами, тухо набитыми вишнями, горохом, огурцами...

— Смотрите, у меня не живот, а настоящий барабан! — кричит один из нас, хлопая ладонью по голому животу.

— А у меня до горла доходит: скоро дышать перестану, — заявляю я.

Жара и пыль толкают нас к реке, но навстречу попадается тетя Сара, и радость летнего дня отравлена.

— Хорош единственный сын! — кричит тетя. — Родная мать умирает, а он весь день шарлатанит по городу... Сейчас чтоб ты мне отправился в больницу!..

И я, сникнув, тихо шагаю по главной улице города Житомира, по Киевской, ведущей к далекой загородной больнице.

## 2. Сирота

Больница большая, дома все каменные, белые, а по широкому двору гуляют больные. И мальчишка один на костылях гуляет, смешной — халат со шлейфом, а на голове колпак.

Я знаю, где лежит моя мама: там только женщины да старухи.

Кроватей так много, что сосчитать трудно. И все одинаковые, все белые. Вхожу в палату. И хотя я маленький, но меня все видят.

Слышишь шопот:

— Это сын девятой койки. Единственный...

— Бедный мальчик!..

Мне становится стыдно. Рукой стараюсь закрыть свежую прореху на рубашке: сегодня запечился на заборе.

Мама лежит на спине, худая, тонкая и вся из воска.

Подхожу и наклоняю голову. Мама горячей рукой проводит по моим кудрям, так тихо, будто перышком касается.

— Садись, — говорит мама.

И я осторожно, чтобы не шуметь, вскарабкиваюсь на табуретку.

Маме трудно говорить. Она тяжело дышит, будто набегалась.

— Достань на тумбочке... мясо... булку... Поешь, мой маленький... Как тебя?.. Ты слушаешься?..

Рот у меня набит мясом и хлебом, и я утвердительно киваю головой.

— Шимеле! — окликает меня мама.

Она хочет что-то сказать, но не может, и смотрит на меня большими влажными глазами.

Я поел, и мне становится скучно. Думаю о товарищах и от нечего делать играю ногами. Мама делает мне знак.

Я сползаю с табуретки, и снова мои кудри ощущают ласковое прикосновение маминой руки.

— Уж поздно... Иди, мой птенчик... мой маленький...

Я ухожу. На пороге оглядываюсь и вижу прощальные глаза мамы.

В горле закипают слезы, слово «сирота» ударяет по лицу и, спрятавшись за крылечко, прижимаюсь к каменной стене и тихо плачу...

Я — сирота: моя мама умерла. Тетя Сара и сестра моя, Бася, служащая нянечкой в одном богатом доме, весь день плачут.

По случаю траура они сидят на полу без обуви, а меня дядя водит в синагогу и заставляет повторять одну и ту же заупокойную молитву под названием «кадыш».

Мне очень обидно: никак не могу понять, почему умерла моя мама, а не чужая.

К нам ходят соседи утешать нас. Старуха Малке, вдова учителя, набожная женщина, с втянутыми в беззубый рот губами, говорит в утешение:

— Фейге (имя покойной мамы) хорошо сделала... Что ждало ее в будущем? Ей все равно пришлось бы волочить по земле свои страдания... А теперь слезами и муками она проложила себе дорогу в рай, и, может быть, душа ее уже радостно катится в Ерусалим...

Наш сосед Арон Пинес сидит на стуле и говорит взволнованным голосом:

— Оставьте в покое Ерусалим: он бедняку нужен, как богачу милосердие. Вы полагаете, что если еврей умер, мы должны за это славить господа, потому что одним нищим стало меньше на земле. Вот так думают и наши раввины. С одним из них я недавно имел беседу: я стал ему жаловаться на свою судьбу, а раввин мне на это: «Не горрай, мой сын, и не ропщи на бога: за все твои страдания тебе воздастся сторицей на том свете. И как сейчас ты завидуешь богачам, так они будут завидовать тебе, когда будешь в раю...» Тогда я ему в ответ: «Равви, если так, то, будьте добры, переговорите с Мойше Скомаровским — он первый у нас богач, — и я охотно с ним поменяюсь: пусть он завтра займет мое место в раю, а я безропотно отправлюсь в ад, когда мне придет конец...»

Тетя Сара улыбается и благодарными глазами смотрит на Пинеса. А дядя Шмуни готовится к предвечерней молитве, хмурится, кашляет и, видимо, очень недоволен речью соседа.

— Разве Фейгеле умерла? — продолжает Пинес, поощренный улыбкой тети. Ее убили. Взяли молодую, красивую, здоровую женщину и вогнали в гроб. Первый всадил ей нож в сердце черный негодяй — отец вот этих сирот...

Тетя всхлипывает и вытирает слезы передников. Я настораживаюсь: речь идет о моем отце. Мне отчетливо представляется, как отец вытаскивает из-за голени-

ща большой нож и всаживает острое лезвие в сердце мамы.

И я мгновенно перестаю любить отца.

— На слабые плечи женщины, — продолжает Пинес, — черной тучей упала жизнь. Обиды, изменения, непосильная борьба и одиночество замучили нашу страдалицу, и она погибла... Но, скажите мне, разве может под такой пресс попасть дочь ростовщика или фабриканта!.. Никогда!.. За нее сейчас же заступятся: бог, царь и раввин... А Фейгеле была бедна. Наш милосердный бог большой аристократ и вековечное еврейское горе ему надоело, Он не любит, когда в его небесные окна стучится бесправная голь...

— Послушайте, Пинес, я прошу вас в моем доме не богохульствовать! неожиданно перебивает соседа дядя Шмуни.

Он дрожит от волнения, и тощее лицо заливается румянцем.

У тети загораются глаза, и она кричит:

— Можешь не слушать, если не нравится... Бог найдет адвоката получше тебя. Уж кто бы говорил...

Тетя вскипает и, забыв о посторонних, обнажает язвы многострадальной жизни... Она рассказывает о том, как отец мой — рабочий на табачной фабрике в Петербурге — сошелся с русской рабой девкой-папироносницей, а жену с двумя малютками бросил на растерзание свирепой нищете...

И еще рассказывает тетя о том, как моя мама, прибыв сюда, в Житомир, поступила кухаркой и отдала все силы свои, чтобы скопить деньги, необходимые нам, ее детям, на дорогу. Но отец, получив скопленные трудом и слезами гроши, не поехал с нами сам, а отправил нас одних в далекий и опасный путь...

Тетя все это рассказывает со слезами в голосе. Сестра моя плачет. Глядя на них, я кулачонками тру глаза, и наше горе представляется мне черной тучей, падающей на наши плечи.

Но время уносит траурные дни, воспоминания о маме блекнут, и я снова на улице среди жизнерадостной голытьбы, согретой солнцем.

Всюду пахнет медом и малиной. Все поспело, все созрело.

Хорошо и вкусно жить на свете!

### 3. Обида

Да, хорошо и вкусно жить на свете, когда пахнет медом и малиной, и когда созревшие сады источают сладкий сок тяжеловесных плодов, но зато очень плохо, когда ветры срывают листья с дерев, студят воду в реке и заставляют само солнце зябко кутаться в тучах.

Бегать в одной рубахе становится холодно, в пустых садах делать нечего, а смотреть на красивую, но горькую рябину не ахти как весело. И вот в такие-то осенние дни евреи готовятся к праздникам. Этих праздников много, и тащатся они гуськом один за другим. Из них самый интересный — «кущи», когда надо из всякого барабана строить отдельный домик.

Для нас с дядей такая постройка — сущие пустяки.

Мы живем под обрывом, и одна земляная стена с низеньким заборчиком на верху уже готова. К ней надо прилепить еще три стены.

Из разных палок, досок и свеженарезанных еловых веток делаем плоскую крышу, прилаживаем легкую дверку — и куща готова.

Материалом для постройки служит все, что попадается под руки: гладильная

доска, палка от ухвата, толстый картон, кусок проволоки, клепки от рассыпанной бочки, ржавый лист железа — все годится, все идет в дело. Самое горячее участие в работе принимает дядя Шмуни, а я его главный помощник. Куша воздвигается в компании с Ароном Пинесом. Сосед мало работает, но много шутит.

— Мне кажется, что бог смотрит на нас и смеется так, как будто ему ангелы пятки щекочут, — говорит Пинес, посыпая пол желтым песком.

Дядя стоит на табуретке и связывает углы постройки толстой бельевой веревкой.

— Бог умнее вас, — возражает дядя, — и смеяться над собственными велениями не станет.

— Ну, а если вы шутки ради посоветуете мне снять штаны и сесть в крапиву, а я из вежливости исполню ваше желание, — разве вы не посмеетесь?..

— Послушайте...

Приступ длительного кашля мешает дяде ответить.

Куша готова. Завтра будем там обедать...

По расшатанным деревянным ступеням подъемаюсь к нашим воротам, выходжу на Верхнюю улицу, перегибаюсь через низкий заборчик и вижу зеленую крышу нашей кущи.

Осенний безоблачный день. На солнце тепло, небо сине, а река серая, студеная. Тетя накормила нас, детей, и теперь накрывает стол для взрослых. Обедает у нас и Пинес: он внес свою долю. На столе куриный бульон.

Редкость неслыханная.

Я поднимаюсь на Верхнюю улицу и вижу Шарика — рыжую собачку нашей домовладелки. Любопытным мальчишкой стоит пес на задних лапах, а передние положил на заборчик, внимательно смотрит на зеленую крышу кущи и поводит влажным коричневым носом. Ему, должно быть, приятен запах курицы. Там, в куще, сейчас обедают взрослые.

Подхожу к собачке. Гляжу ее по голове, а она все нюхает.

И мне хочется, чтобы собачка прошлась по крыше. Я наклоняюсь, беру Шарика за задние лапы и перебрасываю через заборчик. Собака проваливается и падает прямо на миску с куриным бульоном.

Слышу отчаянный крик тети Сары. Чувствую, что совершил тяжкое преступление, и все вокруг меня вертится в бешеной пляске: и река, и наш дом, и Верхняя улица, и поймавшие меня прохожие.

Меня волокут домой. Дядя наклоняется, и я ощущаю прикосновение бороды и горячее дыхание больного человека.

— Ты что же это? А?! Так вот тебе!

Дядя изо всей силы ударяет меня кулаком в спину.

Что-то звенит в голове, и я ничком падаю на пол с хлынувшей из рта кровью.

— Сумасшедший! — кричит тетя. — Разве можно так бить сироту, чахоточник проклятый!..

Обида и злость горячими потоками вливается в мое сердце.

Вскакиваю на ноги и со зла размазываю кровь по всему лицу.

— Больше жить у вас не буду! — кричу и убегаю.

Весь день до самого вечера прячусь на дне Черной балки, куда сваливают мусор со всего города. От навоза поднимаются испарения и греют меня.

Мое будущее — наступающий вечер, а потом темная, жуткая ночь, и я боюсь

этого будущего, страшусь одиночества.

Мир так велик, а мне, маленькому, нет места... Я же не знал, что Шарик провалится!.. Мне хотелось, чтобы песик прошелся по крыше и чтобы ему удобнее было нюхать... А дядя так ударил, что сейчас еще шумит в голове. Никогда не буду любить взрослых. Пусть лучше одни дети останутся, а взрослые пусть перемрут до единого, и тогда всем хорошо будет.

Солнца уже нет, и от холода стучу зубами. Скоро наступит ночь, и я умру... Пусть тогда знает дядя, как бить сироту.

— Шимеле, ты здесь?

Это голос Мотеле. Тяжелый груз одиночества спадает с меня, и сердце радостно бьется...

— Целый день ишу тебя... Вот кусочек булки и зеленый лук... Где же ты был?.. Твоя тетя плачет и ругает дядю... Тебе в синагогу нужно. Некому кадыш говорить...

Торопливый говорок товарища мелким горошком всыпается в мои уши, и я чувствую себя бодрой.

— Ага, теперь ищут... А чужих детей бить можно?.. Ведь дядя меня чуть не убил... Хорошо, что я такой сильный и выдержал...

— И я бы выдержал, — перебивает Мотеле.

Чтобы не обидеть приятеля, я утвердительно киваю головой и продолжаю:

— Никогда больше не пойду домой...

— Где же ты будешь?

— Вот здесь.

— Как здесь?! А ночь!.. Скоро темно станет... И холодно станет... Нет, ты вот что: когда покернеет кругом, ты встань и беги к нам. У нас в сенях тепло и большая рогожа лежит. Отец уснет, а я тихонько дверь открою, ты и войдешь... Хорошо?..

— Ладно.

Мотеле убегает.

#### 4. Первые заработки

Живу на свободе: куда хочу, туда и иду.

Тетя больше надо мною не командует. Только вот беда: всегда кушать хочется. Неужели нельзя сделать так, чтобы человек поел один раз на целую неделю...

Сейчас от нечего делать брожу по Житомиру. Город большой, улиц много. А вот и базар. Пирогов горячих сколько — страсть!..

Мальчишка моего роста продаёт лавочнику-железнику горсть старых крюков от ставней. За десять штук получает четыре гроша.

Деньги солидные.

Таких крючков у нас, на Приречной да на Верхней, сколько хочешь. Снять их легче легкого.

Голод толкает мои мысли вперед. Одному сделать этого нельзя: необходим товарищ. Бегу на свалку, но там никого нет, потому что холодно.

Мне очень хочется съесть кусочек хлебной горбушки, натертой чесноком. Если я сегодня не поем, то умру непременно...

А вот и Мотеле! Он бежит навстречу, но с пустыми руками.

— Когда же ты ушел? — кричит он мне издали.

— Чуть свет: я боялся, что твой отец меня увидит... Послушай, Мотеле, ты знаешь, какие бывают крючки на ставнях? — спрашиваю я шепотом.

— Крючки? — переспрашивает чуть слышно Мотеле.

— Ну да, чем прикрепляются ставни к стене, чтобы ветер ими не хлопал.

— А, знаю, знаю...

— Ну, так слушай: если мы вырвем этих крючков штук десять, нам за них дадут четыре гроша, а если больше снимем, то цельную злоту дадут.

Мотеле меняется в лице.

— А разве это можно? — спрашивает он, чуть дыша.

— Почему же нельзя? Ведь никто знать не будет. Пойдем сейчас за угол: там низкие ставни. Я покажу тебе, как их надо снимать.

Нетерпение мое растет; я уже вижу торговца железом, отсыпающего нам монеты, ощущаю вкус горячих пирогов, а страх вдувает в сердце холод, и меня лихорадит.

С первым крючком вожусь долго: боязнь попасться мешает мне, но потом привыкаю, и крючки уже сами лезут в руки.

К вечеру на всей Приречной нет ни одного крючка, и ветер хлопает ставнями, как слон ушами. Хозяйки в отчаянии. Стараются заменить крючки веревочками, но ничего не выходит. А мы с Мотеле сидим на дне Черной балки, упсыываем пироги с ливером и вслух мечтаем о том, как мы обескрошим весь город и станем богатыми.

Но мечты наши не осуществляются: домовладельцы зорко стали следить за ставнями, и нам страшно даже близко подойти. А тут еще с каждым днем становится холодней, и босые ноги трескаются от стужи. Есть совсем нечего. Отец Мотеле ничего не зарабатывает: свадеб нет.

Никто не хочет жениться.

Голод и холод напоминают мне, что я умею делать арабские мячи. Дело самое простое: весной, когда коровы роняют шерсть, я подхожу к любой из них и руками вырываю, сколько мне нужно, а затем эту шерсть мочу в реке и делаю из нее шарик. Потом нахожу старые калоши, срываю с них резину и разрываю ее на узенькие полоски. На комок шерсти я туто наматываю резиновую лапшу, запреплю конец — и мяч готов. Он тверд, тяжеловесен и хорошо подскакивает.

— Знаешь что? — говорю я Мотеле. — Давай арабские мячи делать и гимнастам продавать.

— Они нас не подпустят, — уверенно говорит Мотеле.

— Почему?

— Им родители запрещают знакомиться с сиротами.

— Ничего... А мы издали покажем им, как подпрыгивают наши мячи, и... И еще: у меня имеется один знакомый гимназист, Иосифом зовут, богатый, — моя мама служила у них кухаркой... Но вот беда: у коров теперь шерсть крепкая не вырвешь...

— А у нас есть шерсть, — говорит заинтересованный Мотеле и кулаком вытирает мокрый нос.

— Где у вас шерсть?

— На чердаке лежит. Осталась от покойной козы.

Мы с воодушевлением принимаемся за дело.

Блестит недолгое осеннее солнце, и как будто становится теплей. На свалке